

# Доктор Паскаль

**Автор:**

Эмиль Золя

Доктор Паскаль

Эмиль Золя

Ругон-Маккары #20

«Доктор Паскаль» – история любви, которая связала двух очень разных людей и сделала их счастливыми. Доктор Паскаль – ученый, отдавший себя науке и не замечавший ничего и никого вокруг себя. Так продолжалось до тех пор, пока в его жизни не появилась Клотильда – юная, наивная девушка, которая полюбила его всем сердцем. Ее любовь стала для Паскаля ценным даром. Благодаря Клотильде он наконец узнал, что значит настоящее счастье.

Эмиль Золя

Доктор Паскаль

© Яхнина Е., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

\* \* \*

ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ И МОЕЙ ДОРОГОЙ ЖЕНЕ

Посвящаю я этот роман-итог, который венчает мое творчество.

В знойный июльский день в большой комнате с тремя окнами, тщательно закрытыми старыми деревянными ставнями, царил глубокий покой. Сквозь щели рассохшихся ставней пробивались скупые солнечные лучи, и комнату, погруженную в полумрак, наполнял рассеянный свет, мягко озарявший все предметы. Здесь было почти прохладно, но чувствовалось, что на улице, где солнце раскалило стены дома, все изнывает от жары.

Стоя у шкафа против окон, доктор Паскаль искал какую-то рукопись. Резные дверцы огромного дубового шкафа с искусной добротной оковкой работы прошлого века были открыты настежь, и в глубине его чрева виднелись груды бумаг, нагроможденные в беспорядке, папки, рукописи. Уже свыше тридцати лет доктор складывал сюда все свои работы, от кратких заметок до завершенных больших трудов о наследственности. Вот почему здесь нелегко было что-нибудь разыскать. Паскаль терпеливо рылся в своих записях и, найдя наконец то, что искал, улыбнулся.

Еще несколько минут он задержался у шкафа, перечитывая найденную заметку, на которую из среднего окна падал золотой луч. Паскалю было под шестьдесят, но он сохранил юношескую осанку, коричневая бархатная куртка плотно облегла его фигуру, черты лица не расплылись, кожа была свежей, а глаза так по-детски ясны, что, несмотря на седые волосы и бороду, он казался в этой полутьме молодым человеком, надевшим пудренный парик.

– Вот что, Клотильда, – произнес он наконец, – перепиши-ка эту заметку. Рамону ни за что не разобрать моих каракуль.

И он положил бумагу на высокую конторку, за которой, стоя в амбразуре правого окна, работала молодая девушка.

– Хорошо, учитель, – отозвалась она.

Она так увлеклась рисунком, который набрасывала крупными штрихами пастели, что даже не повернула головы. Подле нее в вазе стояла роза причудливого лилового оттенка с желтыми прожилками. Паскалю была отчетливо видна круглая головка девушки с белокурыми, коротко остриженными волосами, был виден ее прелестный строгий профиль, внимательно нахмуренный лоб, голубые глаза, тонкий нос, упрямый подбородок. Особенно пленяла своей юной свежестью ее склоненная молочно-белая шейка с буйными золотистыми завитками. В длинной черной блузе, очень высокая, с тонкой талией, маленькими грудями, она стройным удлинненным телом и гибкостью стана напоминала божественно прекрасные фигуры Возрождения. В двадцать пять лет в ней все еще было что-то детское, и она выглядела никак не старше восемнадцати.

– Наведи, кстати, порядок в шкафу, – продолжал доктор. – Там ничего не найдешь.

– Хорошо, учитель, – повторила она, по-прежнему не поднимая головы. – Немного погодя.

Паскаль сел за письменный стол, стоявший на другом конце комнаты у левого окна. Это был простой стол черного дерева, заваленный, как и шкаф, бумагами и всевозможными брошюрами. И снова все погрузилось в безмолвие, в сумеречный покой, а там, за стенами дома, нещадно палило солнце. В просторной комнате длиной в десять метров и шириной в шесть стояли шкаф и две массивные полки, загроможденные книгами. Стулья и старинные кресла были расставлены как придется, а стены, оклеенные старомодными обоями с розетками в стиле ампир, украшали только пастели с изображением цветов необычной окраски, смутно различимых в полумраке. Резьба на трех двухстворчатых дверях: входной, ведущей на площадку, и двух других, – в спальню доктора и напротив, в спальню Клотильды, относилась к временам Людовика Пятнадцатого, так же как и карниз закопченного потолка.

Так прошел час в полной тишине, ни звука, ни шороха. Потом Паскаль, чтобы немного отвлечься от работы, вскрыл бандероль, забытую на столе, и, развернув газету «Тан», воскликнул:

– Вот как! Твой отец назначен главным редактором «Эпок» – весьма популярной республиканской газеты, в ней публикуются документы о Тюильри.

Этой новости он, по-видимому, не ждал, потому что рассмеялся от души, довольный и в то же время слегка огорченный.

- Право, странная штука жизнь! - продолжал он вполголоса. - Любая выдумка покажется более правдоподобной, чем эта история. Ага, тут есть интересная статья...

Клотильда ничего не ответила на слова дяди - казалось, она унеслась мыслями куда-то очень далеко. Он тоже умолк и, кончив читать, вырезал статью, наклеил ее на лист бумаги и крупным, неровным почерком обозначил дату и название газеты, откуда сделана вырезка. Затем вернулся к шкафу, чтобы присоединить новую заметку к другим. Ему пришлось взять стул - несмотря на высокий рост, он не мог дотянуться до верхней полки.

Здесь аккуратно выстроились в ряд пухлые синие картонные папки, расставленные по определенной системе. Чего только в них не хранилось! Рукописи, листы исписанной гербовой бумаги, статьи, вырезанные из газет. И на каждой папке крупным почерком выведено название. Было видно, что эти документы содержатся образцово, читаются и перечитываются, а затем неукоснительно ставятся обратно; во всем шкафу только на этой полке и был порядок.

Стоя на стуле, Паскаль отыскал нужную папку - одну из самых внушительных, с надписью «Саккар», вложил в нее вырезанную статью и тут же поставил обратно на место в алфавитном порядке. На мгновение он задумался, затем аккуратно поправил грудку бумаг, грозившую рассыпаться. И, наконец, спрыгнув со стула, сказал:

- Клотильда, когда будешь убирать, не трогай папок наверху, слышишь?

- Хорошо, учитель, - покорно ответила она в третий раз.

Он засмеялся и с обычной своей веселостью заметил:

- Это строго запрещается!

- Я знаю, учитель!

Он затворил шкаф, решительно повернул ключ и бросил его в ящик письменного стола. Клотильда была знакома с его трудами и могла навести порядок в рукописях; он охотно поручал ей также секретарские обязанности, давая переписывать набело ту или иную заметку, когда его коллега и друг доктор Рамон хотел с ними ознакомиться. Но Клотильда отнюдь не была ученой, и доктор просто-напросто запрещал ей читать то, что считал для нее бесполезным.

Заметив, что она с головой ушла в свое занятие, Паскаль удивленно спросил:

– Что с тобой? Ты как будто язык проглотила! Неужто ты так увлечена своим рисунком?

Доктор часто доверял Клотильде подобную работу – рисунки карандашом, акварелью или пастелью, служившие затем иллюстрациями к его научным трудам. Вот уже пять лет он производил очень любопытные опыты над коллекцией штокроз, получая путем искусственного опыления цветы все новой и новой окраски. Клотильда так тщательно передавала оттенок и форму цветка, что Паскаль неизменно восхищался ее добросовестностью, повторяя, что у нее «славная, светлая головка, разумная и смышленная».

Но на этот раз, подойдя к Клотильде и заглянув через ее плечо, он закричал с комическим негодованием:

– Этого только недоставало! Ты опять в мире своих фантазий?! Изволь сейчас же все разорвать!

Она выпрямилась, краска залила ее щеки, глаза все еще горели вдохновением. Зажатые в руке пастельные карандаши раскрошились и оставили красные и синие пятна на ее тонких пальцах.

– О, учитель!

И в слове «учитель», звучащем в ее устах такой нежной покорностью и полным подчинением, в этом слове, с каким она всегда обращалась к нему, стараясь избегать обычных «опекун» или «дядя», казавшихся ей банальными, – впервые послышалась нотка возмущения, протест человеческой личности, вдруг осознавшей себя и желающей утвердить свое «я».

Она перестала старательно копировать штокрозы и на другом листе за два часа успела набросать гроздья каких-то небывалых цветов, великолепных, причудливых и сказочных. С Клотильдой случалось порой, что, срисовывая самый обыкновенный цветок, она вдруг испытывала потребность отдаться своей капризной фантазии. И, уступая разыгравшемуся воображению, она неизменно повторяла все ту же тему этих необычных соцветий и создавала плачущие желтыми слезами розы с кровавой сердцевинкой, лилии, похожие на хрустальные чаши, и даже цветы не существующих в природе форм, чьи венчики походили то на лучистые звезды, то на зыбкие облака. Сегодня на лист бумаги, крупно заштрихованный черным карандашом, хлынул дождь бледных звезд, целый поток бесконечно нежных лепестков; а в углу рисунка распускался девственный бутон диковинного цветка.

– Ты и это собираешься повесить сюда? – спросил доктор, показывая на стену, где уже висели другие, столь же странные пастели. – Но что же тут изображено, хотел бы я знать!

Сохраняя серьезность, она отступила на шаг, чтобы лучше рассмотреть свое произведение.

– Сама не знаю, но это красиво!

Тут в комнату вошла Мартина – единственная служанка доктора, ставшая хозяйкой в доме за те без малого тридцать лет, что она у него прожила. Всегда деятельная и молчаливая, в неизменном черном платье и белом чепце на голове, придававшем ей сходство с монахиней, она, как и ее хозяин, тоже была моложава, хоть ей и перевалило за шестьдесят; на ее бледном умиротворенном лице светлые, выцветшие глаза казались угасшими.

Не говоря ни слова, Мартина опустилась на пол возле потертого кресла, из которого вылезал волос, и, вытащив из кармана иголку и моток шерсти, принялась за работу. Уже три дня ей не терпелось урвать свободную минуту, чтобы заштопать дыру.

– Раз уж вы занялись починкой, Мартина, – воскликнул шутливо доктор, взяв в обе ладони непокорную голову Клотильды, – почините-ка заодно и эту головку, которая дала трещину.

Мартина подняла свои потухшие глаза и с неизменным обожанием устремила их на хозяина.

– Почему вы говорите это мне, сударь?

– Да потому, голубушка, что мне сдается, будто именно вы с вашей набожностью наполнили потусторонними фантазиями эту славную головку, такую смышленную и разумную...

Обе женщины понимающе переглянулись.

– Что вы, сударь, еще не было случая, чтобы вера причинила кому-нибудь вред. Ну, а если кто с этим и не согласен, то, право же, лучше не спорить.

Наступило неловкое молчание. Только разговоры о боге приводили порой к ссорам эту дружную, всегда согласную во всем троицу. Мартине было всего двадцать девять лет, на год больше, чем доктору, когда она поступила к нему в услужение, а он только начинал свою деятельность врача в маленьком светлом домике нового квартала Плассана. Тринадцать лет спустя один из братьев Паскаля, Саккар, овдовев и собираясь жениться вторично, прислал ему из Парижа свою семилетнюю дочь Клотильду, – и Мартина занялась воспитанием девочки, водила ее в церковь, стараясь передать ей свою горячую набожность. Доктор, человек широких взглядов, этому не препятствовал, ибо не считал себя вправе лишать людей счастья, какое дает вера. Позднее он сам взялся за образование девушки, стремясь внушить ей правильные, трезвые взгляды. Так жили они втроем вот уже почти восемнадцать лет, уединившись в Сулейяде – маленькой усадьбе одного из городских предместий неподалеку от церкви Св. Сатюрнена, жили счастливо, – доктор был всецело поглощен своими трудами, в которые он не посвящал никого; их безмятежную жизнь нарушало только смутное беспокойство, все резче проявлявшиеся разногласия в вопросе веры.

Помрачневший Паскаль несколько минут ходил взад и вперед по комнате, затем сказал без обиняков:

– Знаешь, дорогая, все эти мистические бредни совсем сбили тебя с толку... Ваш боженька в тебе не нуждается, напрасно я не уберег тебя от него. Тогда тебе было бы куда легче!

Клотильда не сводила с него ясного взгляда и, дрожа от волнения, все же не сдавалась.

– Это тебе, учитель, было бы легче, если бы ты не смотрел на все только телесными очами... Есть еще нечто другое... Почему ты не хочешь этого понять?

Мартина поспешила прийти ей на помощь, как умела:

– И то верно, сударь, вы праведный человек, об этом я и толкую повсюду, вот вам и пойти бы с нами в церковь... Что и говорить, бог спасет вашу душу. Но как подумаю, что, может быть, вы не прямо попадете в рай, так меня дрожь пробирает...

Паскаль был смущен: обе эти женщины, никогда ему не прекословившие, покоренные его жизнелюбием и добротой, боготворили его, а теперь они вдруг взбунтовались. Он уже раскрыл было рот, чтобы осадить их, как вдруг почувствовал всю бесполезность спора.

– Ладно! Оставьте меня в покое! Пойду работать, так будет лучше... Но потрудитесь мне не мешать!

Легким шагом он направился к себе в комнату, где у него было устроено некое подобие лаборатории, и заперся там. Паскаль строго-настрого запрещал входить к себе, потому что он занимался какими-то особыми опытами, в которые не посвящал никого. И тотчас послышался медленный, размеренный стук пестика в ступке.

– Ну вот, теперь он, как говорит бабушка, занялся своей дьявольской стряпней, – сказала, улыбаясь, Клотильда.

И снова она принялась не спеша срисовывать цветок штокрозы. Она с математической точностью набрасывала контуры лиловых с желтыми прожилками лепестков, передавала все оттенки, вплоть до самых тончайших.

– Какое несчастье! – пробормотала через несколько минут Мартина, снова усевшись на пол чинить кресло. – Такой праведный человек и так попусту губит свою душу! Ведь ничего не скажешь, тридцать лет я его знаю, и ни разу он не

сделал никому зла. Вот уж поистине золотое сердце, последнее отдаст. И такой он добрый, и всегда-то бодр и весел – божье благословение, да и только! Одна беда – не хочет примириться с господом богом! Правда, барышня, надо его заставить!

Удивившись такой необычной словоохотливости служанки, Клотильда ответила со всей серьезностью:

– В самом деле, Мартина. Мы его заставим, обещаю тебе!

Снова наступило молчание, как вдруг задребезжал звонок у входной двери. Его повесили внизу, чтобы о приходе посторонних было слышно во всех уголках дома, слишком обширного для трех его обитателей. Служанка удивилась и, пробормотав себе под нос: «Кого это принесло в такую жару!» – встала с пола, вышла на лестницу, наклонилась над перилами и, вернувшись, объявила:

– Госпожа Фелисите!

И тотчас на пороге показалась сама г-жа Ругон. Несмотря на свои восемьдесят лет, она легко, точно молоденькая, взбежала наверх: смуглая, худощавая, подвижная, она так же, как и в молодости, походила на цикаду. Теперь она одевалась очень элегантно, ходила в черном шелковом платье, и талия ее была по-прежнему так тонка, что со спины ее можно было принять за молодую женщину, увлеченную честолюбивыми замыслами или любовной страстью. Кожа на ее лице высохла, но глаза сохранили былой блеск, и она по-прежнему умела расточать обольстительные улыбки.

– Неужто это ты, бабушка? – воскликнула Клотильда, идя ей навстречу. – Но ведь сегодня настоящее пекло, впору изжариться!

Фелисите, смеясь, поцеловала ее в лоб.

– Ну, мы с солнцем старые друзья!

Быстрыми мелкими шажками она засемила к окну и откинула задвижку на одном ставне.

– А ну-ка, приоткройте окно! Разве не грустно жить в такой темноте! К себе я солнце впускаю.

Сквозь полуоткрытые ставни ворвалась струя яркого света, целый поток танцующих брызг. И под иссиня-лиловым, как при пожаре, небом среди этого всепожирающего зноя открылась широко раскинувшаяся, опаленная солнцем равнина, словно заснувшая мертвым сном. Справа над розовыми крышами высилась колокольня церкви Св. Сатурнена – позолоченная башня, выступы которой в этом ослепляющем свете напоминали побелевшую от времени кость.

– Я собираюсь в Тюлет, – сообщила Фелисите, – и забежала узнать, не у вас ли Шарль... Я хотела увезти его с собой. Но коль скоро его здесь нет... придется отложить до следующего раза...

Пытаясь объяснить свой визит этим предлогом, она продолжала шарить по комнате пытливым взглядом. Впрочем, она быстро переменяла тему и, услышав ритмичный стук пестика, все еще доносившийся из соседней комнаты, заговорила о своем сыне Паскале.

– Ну конечно! Он, как всегда, занят этой дьявольской стряпней! Не беспокойте его. Он мне не нужен!

Мартина, снова принявшаяся за починку кресла, покачала головой, как бы говоря, что у нее нет ни малейшего желания беспокоить хозяина; и опять все умолкли. Клотильда вытирала тряпкой испачканные пастелью пальцы, а Фелисите, словно что-то выискивая, снова заходила по комнате мелкими шажками.

Старая г-жа Ругон вдовела около двух лет. Ее муж, ожиревший настолько, что уже не мог двигаться, скончался от удара, вызванного несварением желудка, в ночь на 4 сентября 1870 года, после того как узнал о Седанской катастрофе. Казалось, его сразило крушение режима, одним из создателей которого он себя мнил. С тех пор г-жа Ругон делала вид, что больше не занимается политикой, жила, как королева, лишившаяся престола. Всем было хорошо известно, что в 1851 году Ругоны спасли Плассан от анархии, способствуя признанию государственного переворота 2 декабря, и что несколько лет спустя они снова одержали верх над легитимистскими и республиканскими кандидатами, отдав голоса Плассана бонапартисту. До войны сторонники Империи были здесь

всемогущи и так популярны, что во время плебисцита получили подавляющее большинство голосов. Но после разгрома город стал республиканским, квартал Св. Марка снова занялся втихомолку роялистскими интригами, а старый квартал и новый город послали в палату депутатов либерала, близкого орлеанистам, который готов был в любую минуту перекинуться на сторону Республики, если та восторжествует. Вот почему Фелисите, женщина весьма умная, отошла от политики и примирилась с положением королевы, свергнутой с престола при смене правительства.

Но и в этом положении было нечто возвышенное, оваянное своеобразной поэтической меланхолией. Фелисите царила целых восемнадцать лет. По мере того как шло время, все прекраснее становилась легенда о двух ее салонах – желтом, где созревал государственный переворот, а потом зеленом, где на нейтральной почве было завершено завоевание Плассана. Вдобавок Фелисите была очень богата. Все находили, что она с большим достоинством перенесла свое падение, без слез, без жалоб, к тому же за ее плечами была такая длинная цепь грязных интриг, алчных страстей и необузданных желаний, что в ее восемьдесят лет это придавало ей даже величие. У г-жи Фелисите оставалась единственная радость – наслаждаться на покое своим огромным состоянием и былым высоким положением, и она знала отныне одну лишь страсть – оберегать свое прошлое от всего, что в дальнейшем могло бы его запятнать. В своем тщеславии, питавшемся двумя деяниями, все еще не забытыми местными жителями, она ревностно пеклась о том, чтобы сохранились лишь те документы, которые могли упрочить славу семьи, ту легенду, благодаря которой г-жу Ругон приветствовали, как бывшую королеву, когда она проходила по улицам города.

Фелисите подошла вплотную к двери в комнату сына, прислушиваясь к стуку пестика. Затем с озабоченным видом обратилась к Клотильде:

– Что это он там стряпает, господи боже? Знаешь, ведь доброму имени Паскаля очень вредит его новое лекарство. Говорят, что в прошлый раз он опять чуть было не отправил на тот свет одного из своих пациентов.

– Ну что ты, бабушка! – воскликнула Клотильда.

Но Фелисите уже не могла остановиться.

– А вот представь! Знаешь, о чем судачат женщины... Пойди-ка в предместье и порасспроси. Они расскажут тебе, что он толчет кости мертвецов в крови новорожденных.

На этот раз даже Мартина возмутилась, а Клотильда, оскорбленная в лучших своих чувствах, рассердилась не на шутку.

– Бабушка, как ты можешь повторять такие гнусности!.. И это говорят про учителя, про человека с таким добрым сердцем, помышляющего только о благе других!

Увидев, что обе женщины негодуют, Фелисите поняла, что зашла слишком далеко, и сразу заговорила медоточивым голосом:

– Но, детка, не я же выдумала все эти ужасы. Я только передаю тебе вздорные слухи, ведь должна ты наконец понять, что Паскаль напрасно пренебрегает общественным мнением. Он уверен, что нашел новое лекарство, – чего же лучше! Я даже допускаю, что и впрямь он излечит всех на свете.

Но почему делать из всего тайну, почему не заявить об этом во всеуслышание?

И самое главное, почему он испытывает свои блестящие методы лечения на всяком сброде из старого города и деревень, а не на пациентах из порядочного общества, что принесло бы ему славу. Нет, в самом деле, детка, твой дядя все делает не по-людски.

В ее тоне послышалась скорбная нотка, она понизила голос, чтобы поведать о своей скрытой ране.

– Слава богу, из нашей семьи вышло немало почтенных людей: разве другие мои сыновья не радуют меня? Посуди сама, шутка ли, как вознесся твой дядя Эжен. Двенадцать лет в министрах, чуть ли не император! А отец твой ворочал миллионами и был причастен к грандиозным работам по перестройке старого Парижа. Я уж не говорю о твоём брате Максиме, человеке достойном и богатым, ни о твоих кузенах – Октаве Муре, одном из столпов новой коммерции, и нашем дорогом аббате Муре, – вот поистине святой человек! Так почему же Паскаль, который мог бы идти по их стопам, упрямится и сидит в своей норе, словно какой-то старый, выживший из ума чудаков?

И, видя, что девушка снова возмутилась, Фелисите ласково прикрыла ей рот рукой.

– Пстой, пстой, дай мне кончить. Я знаю, Паскаль не дурак, у него есть замечательные труды, материалы, посланные им в Медицинскую академию, даже завоевали ему хорошую репутацию в ученом мире... Но разве это может сравниться с тем, о чем я для него мечтала? Блестящие пациенты в городе, крупное состояние, орден – словом, положение и почести, достойные Ругонов... Пойми, детка, только на это я и сетую; он как будто не из нашей семьи, словно ему на нее наплевать. Честное слово, я так и говорила ему, когда он был еще ребенком: «Да в кого ты такой уродился?! Ты – не наш!» Что до меня, то я всем пожертвовала для семьи и дала бы себя изрубить на куски, лишь бы не померкла ее слава!

Фелисите выпрямилась, и ее маленькая фигурка, казалось, выросла от снесавшей ее всю жизнь страсти – спеси и жажды почета. Она снова начала прохаживаться по комнате, но вдруг вздрогнула, увидев на полу номер «Тан», брошенный доктором после того, как он вырезал статью, чтобы положить ее в дело Саккара; зияющая дыра посередине страницы, видимо, объяснила ей все, так как Фелисите вдруг остановилась, затем упала на стул с таким видом, словно узнала наконец то, зачем сюда пришла.

– Твой отец назначен главным редактором «Эпок»! – выпалила она.

– Да, – спокойно ответила Клотильда, – учитель сказал мне, он прочел об этом в газете.

Фелисите впилась в нее настороженным и беспокойным взглядом – назначение Саккара, сближение его с Республикой было в глазах г-жи Ругон огромным событием. После падения Империи Саккар осмелился вернуться во Францию, несмотря на то что был осужден как директор Всемирного банка, на шумевший, бурный крах которого предшествовал падению режима. Сейчас, для того чтобы снова встать на ноги, ему, как видно, пришлось найти новые влиятельные знакомства, прибегнуть к замысловатой интриге. Его не только простили, но он опять начал заправлять крупными делами, стал газетным воротилой, брал взятки, где только мог. Фелисите вспомнилось, как, бывало, между братьями вспыхивали ссоры; Саккар прежде часто компрометировал Эжена, и вот теперь, по иронии судьбы, он, возможно, будет покровительствовать бывшему министру

Империи, ныне простому депутату, который примирился с ролью заступника низвергнутого властелина, внося в эту защиту такое же упорство, с каким его мать отстаивала интересы семьи. Фелисите все еще беспрекословно подчинялась старшему сыну, который остался в ее глазах героем, хотя и поверженным. Но и Саккар, что бы он ни делал, был тоже близок ее сердцу своей неукротимой жаждой преуспевания; она гордилась также и братом Клотильды Максимом, который после войны вновь поселился в своем особняке на проспекте Буа-де-Булонь и теперь проедал там состояние, унаследованное после смерти жены. Пытаясь перехитрить угрожавший ему паралич, он стал благоразумным, как все те, чьи дни сочтены.

– Главный редактор «Эпок», – повторила Фелисите, – чем не министерское кресло! И его завоевал твой отец!.. Да, совсем забыла тебе сказать, я ведь опять написала твоему брату, чтобы убедить его наконец навестить нас. Это его развлечет и к тому же пойдет ему на пользу. Вдобавок его сын, бедняжка Шарль...

Она умолкла. Вот еще одна кровоточащая рана, нанесенная ее тщеславию, – ребенок Максима, которым тот в семнадцать лет наградил служанку. Теперь пятнадцатилетний слабоумный мальчик жил в Плассане на иждивении родственников, переходя от одного к другому.

Фелисите помолчала еще немного, надеясь услышать от Клотильды хоть слово в ответ и перевести разговор на то, что ее беспокоило. Но девушка занялась приведением в порядок бумаг на конторке и не проявила никакого интереса к рассуждениям бабушки. Тогда Фелисите наконец решилась, бросив предварительно взгляд на Мартину, которая, словно набрав воды в рот, продолжала штопать обивку кресла.

– Так, значит, твой дядюшка вырезал статью из «Тан»?

Клотильда улыбнулась все так же безмятежно.

– Да, учитель спрятал ее в свои папки. Чего в них только нет! Рождения, смерти, самые незначительные события – все там! И родословное древо тоже, наше знаменитое родословное древо, к которому он изо дня в день добавляет новые сведения.

Глаза старой г-жи Ругон загорелись. Она в упор смотрела на внуку.

- Ты знаешь, что в папках?

- Нет, бабушка. Учитель никогда не говорит об этом. Мне даже запрещено до них дотрагиваться.

Но г-жа Ругон не поверила внучке.

- Полно, ты, конечно, в них заглядывала, ведь они у тебя под рукой.

Продолжая улыбаться, Клотильда со свойственными ей спокойствием и искренностью ответила:

- Да нет же, если учитель мне что-нибудь запрещает, значит, у него есть на то причины, и я его слушаюсь.

- Ну так вот, дитя мое, - воскликнула Фелисите громко, не сдержав кипевшего в ней негодования. - Паскаль тебя очень любит, может быть, он послушается тебя, ты и должна упросить его сжечь все эти бумаги, - ведь умри он внезапно, люди узнают обо всех злобных наветах на нашу семью, и мы будем опозорены!

Ах, эти проклятые папки! Ночью в кошмарных сновидениях они мерещились ей; там огненными буквами была запечатлена правдивая история Ругонов, все их наследственные пороки - та изнанка славы, которую она хотела бы похоронить вместе с умершими предками! Фелисите знала, что, приступив к обширному исследованию о наследственности, Паскаль начал подбирать семейные документы и, потрясенный обнаруженными в них типическими случаями, подтверждавшими открытые им законы, решил доказать свою теорию на примере собственной семьи. Семья Ругонов была для Паскаля наиболее естественным и доступным полем научных наблюдений, и он знал ее досконально.

С великолепной беспристрастностью ученого он вот уже тридцать лет собирал, накапливал и систематизировал самые сокровенные подробности о своих родных, составляя родословное древо Ругон-Маккаров, и объемистые папки были лишь пространными комментариями к нему.

– Да, да, в огонь, в огонь все эти бумажки, которые нас обесчестят! – пылко продолжала г-жа Ругон.

И, увидев, что служанка поднялась с пола и собирается выйти из комнаты, почувствовав, какое направление принимает разговор, она решительно ее остановила:

– Нет, нет, Мартина, не уходите! Вы нам не мешаете, ведь вы теперь все равно что член семьи. – И добавила шипящим от злости голосом: – В этих папках куча измышлений, сплетни, клевета, которые когда-то изрыгали на нас враги, взбешенные нашим торжеством. Подумай немного, детка! Сколько мерзостей обо всех нас: о твоём отце, матери, о твоём брате, обо мне!

– Мерзостей, бабушка! Но откуда ты-то знаешь?

На мгновение г-жа Ругон смутилась.

– О, я догадываюсь, поверь! Да разве есть хоть одна семья, где бы не было какого-нибудь несчастья, которое можно истолковать в дурную сторону? Взять хотя бы нашу общую прародительницу, дорогую и почитаемую всеми тетю Диду, твою прабабушку; вот уже двадцать один год, как она в доме умалишенных в Тюлет! Хотя милосердный господь даровал ей долгую жизнь, – ей уже сто четыре года, – он в то же время жестоко ее покарал, отняв разум. Конечно, в этом нет ничего позорного, но меня приводит в отчаяние, что про нас могут сказать, будто все мы сумасшедшие, и этому надо помешать. Или взять хотя бы твоего двоюродного деда Маккара, разве о нем не говорили бог знает чего? У Маккара были в свое время грешки – я его не защищаю. Но разве нынче не живет он вполне благопристойно в собственном именице Тюлет, в двух шагах от нашей злополучной матери, о которой он печется, как хороший сын? И, наконец, еще последний пример. Твой брат Максим совершил тяжелый проступок, когда сошелся со служанкой и она родила от него этого бедняжку Шарля, и – что греха таить – у несчастного мальчика с головой неладно. Ну и что из того? Разве тебе будет приятно, если начнут болтать, что твой племянник выродок, что в нем через три поколения повторился недуг его бедной прапрабабушки, у которой ему так нравится бывать. Да о чем толковать! Какую семью ни возьми, если покопаться хорошенько, то окажется, что у одного не в порядке нервы, у другого – мышцы. Право, жизнь станет не мила!

Стоя перед г-жой Ругон в своей длинной черной блузе, Клотильда внимательно слушала ее, опустив руки и потупив глаза. После недолгого молчания девушка задумчиво произнесла:

- Но ведь это наука, бабушка!

- Наука! - воскликнула Фелисите, вновь принимаясь расхаживать по комнате. - Хороша наука, которая посягает на все, что есть самого святого на свете! Что толку от их открытий, если эти святотатцы все разрушают. Они подрывают устои, поднимают руку на семью, на бога...

- Ох, не говорите так, сударыня, - горестно прервала ее Мартина, оскорбленная в своем благочестии. - Не говорите, что хозяин поднял руку на бога...

- Но это так, моя милая, на самого бога... Да и мы все совершаем большой грех, позволяя Паскалю губить свою душу. Право, раз вы ничего не делаете для того, чтобы вернуть его на путь истинный, значит, вы его не любите, честное слово, не любите... А ведь вы обе сподобились счастья верить в бога. Будь я на вашем месте, я разнесла бы этот шкаф вдребезги и устроила славную иллюминацию из всех хранящихся здесь богохульных бумаг!

Она остановилась перед огромным шкафом, сверля его огненным взглядом, словно собираясь накинуться на него, разворотить, уничтожить, несмотря на то что была уже стара и немощна. Затем добавила, жестом выразив всю свою иронию и презрение:

- Если бы еще его наука помогла ему все узнать!

Клотильда стояла, погруженная в раздумье, рассеянно глядя перед собой. И, забыв о Фелисите и Мартине, произнесла вполголоса, словно отвечая на свои мысли:

- Это верно, всего узнать он не может. Все-таки там, на небе, есть что-то другое... Вот это-то и сердит меня, потому я иногда и ссорюсь с ним, я ведь не могу, как он, отметить все таинственное; оно так мучительно волнует меня, я страдаю... Та воля, что действует в загадочном, трепетном полумраке, все те неведомые силы...

Голос ее постепенно затихал, и последние слова она произнесла еле слышным шепотом.

И тут в разговор вступила помрачневшая вдруг Мартина.

– А что, барышня, как и вправду хозяин обрекает себя на погибель своими мерзкими бумажками? Ну, скажите на милость, неужто нам сидеть сложа руки? Я-то, можете не сомневаться, прикажи он мне броситься вниз с террасы, – закрою глаза и брошусь, потому что знаю, правда всегда на его стороне. Но для спасения его души, – если б только я могла, – я бы пошла на все даже наперекор ему. Да, да, на все, что угодно. У меня сердце разрывается, как подумаю, что он не попадет в царство небесное вместе с нами.

– Вот это правильно, голубушка, – одобрила Фелисите. – Вы-то, по крайней мере, любите своего хозяина разумной любовью.

Но Клотильда, казалось, все еще колеблется. Ее вера не подчинялась строгим догматическим канонам, а религиозное чувство не сводилось к одной только надежде на место в раю – этом блаженном уголке, где уготована встреча с родными. Просто ее неосознанно влекло к потустороннему, она была уверена, что огромный мир не ограничен миром чувственным, что существует еще другой, неведомый мир, которым нельзя пренебрегать. Но старая бабушка и преданная служанка вселили тревогу в ее сердце, исполненное нежности к дяде. Может, и в самом деле они любят его разумней и взыскательней, чем она, хотят, чтобы он избавился от чудачеств, присущих ученым, стал непогрешимым и удостоился войти в царство избранных? Она вспомнила строки из религиозных книг об извечной борьбе со злым духом, о славных обращениях, к которым приходят после мучительной борьбы. Что, если она возьмется за это святое дело, что, если вопреки воле учителя она спасет его? И, склонная к романтическим фантазиям, она мало-помалу пришла в странное возбуждение.

– Разумеется, – сказала она наконец, – я буду счастлива, если учитель перестанет корпеть день и ночь над своими бумагами и начнет ходить вместе с нами в церковь.

Видя колебания Клотильды, г-жа Ругон воскликнула, что пора действовать, и даже Мартина поддержала ее, сказав свое слово. Обе подошли к Клотильде и, понизив голос, стали наставлять девушку, будто замыслили заговор, сулящий

разрешиться благодетельным чудом, божественной радостью, которая напоит благоуханием весь дом. Подумать только, какая победа, если удастся примирить доктора с богом! И какое блаженство жить потом в сладостном единении веры!

– Так что же я должна сделать? – спросила побежденная, завоеванная Клотильда.

Как раз в эту минуту в наступившем молчании ритмичный стук пестика стал громче. Торжествующая Фелисите уже собралась было ответить внучке, но тут с тревогой оглянулась на дверь, ведущую в соседнюю комнату, затем спросила шепотом:

– Где ключ от шкафа?

Клотильда не ответила, но невольным жестом выразила, как ей тяжело предавать учителя.

– Какой ты еще ребенок! Обещаю тебе, что не возьму ничего, все останется на месте... Но раз уж мы одни, а Паскаль выходит только к обеду, почему бы нам не удостовериться, что там лежит... Даю тебе слово, мы только взглянем...

Не трогаясь с места, девушка продолжала молчать.

– Да, может быть, я и ошибаюсь, может, там вовсе и нет мерзостей, о каких я тебе говорила...

Эти слова бабушки решили дело. Клотильда побежала за ключом и даже сама настежь распахнула шкаф.

– Вот, бабушка! Папки там, наверху!

Не проронив ни слова, Мартина стала на страже у дверей, напряженно прислушиваясь к стуку пестика; а Фелисите, глядя на папки, словно застыла на месте от волнения. Вот они перед ней, эти страшные бумаги, отравляющие кошмаром ее жизнь! Вот они, она их видит, может дотронуться до них, унести с собой! И, привстав на цыпочки, она жадно потянулась к ним, стараясь добраться до полки.

– Мне не достать их, детка, – произнесла она, – помоги, подай их мне!

– Нет, я не могу, бабушка! Возьми лучше стул!

Фелисите взяла стул, проворно влезла на него.

И все же она была слишком мала ростом. Сделав невероятное усилие, она вся вытянулась, как будто даже выросла, и наконец коснулась синих картонных папок: ее руки шарили по обложкам, судорожно сжимали, царапали их. И вдруг раздался страшный треск: Фелисите задела лежавший на нижней полке образец геологической породы – кусок мрамора, и он полетел на пол.

Стук пестика тут же оборвался, и Мартина прерывисто зашептала:

– Осторожней! Он идет!

Но Фелисите была так поглощена своим делом, что не слышала ее и не заметила, как в комнату вбежал Паскаль. Вначале доктор подумал, что произошло несчастье, что кто-то упал, но при виде картины, представившейся его глазам, он оцепенел: Фелисите приросла к стулу, подняв руки, Мартина отступила к стенке, а Клотильда, очень бледная, выжидательно смотрит на него, не отводя взгляда. Поняв, что здесь происходит, Паскаль сам побелел как полотно. Его охватил страшный гнев.

Но старая г-жа Ругон нимало не смутилась. Как только она поняла, что ее затея не удалась, она спрыгнула со стула и, словно сын не застиг ее за грязным делом, сказала:

– Ах, это ты! Я не хотела тебя беспокоить... Я зашла, чтобы поцеловать Клотильду. И вот уже часа два болтаю с ней, а мне надо торопиться. Дома меня, наверно, заждались и не догадаются, куда я запропастилась. До свидания! До воскресенья!

И она ушла как ни в чем не бывало, на прощанье улыбнувшись сыну, который почтительно и безмолвно стоял перед ней. Такова была раз и навсегда усвоенная им тактика, чтобы уклониться от объяснения, которого он боялся, так как чувствовал, что оно будет бурным. Он знал свою мать и со свойственной ему

широкой терпимостью ученого, который принимает в расчет влияние наследственности, среды и обстоятельств, готов был ей все простить. К тому же ведь она его мать. Одного этого было достаточно, ибо, несмотря на страшный удар, какой он наносил семье своими исследованиями, он нежно любил родных.

Но когда мать удалилась, весь его гнев обрушился на Клотильду. Он отвернулся от Мартины и устремил взгляд на девушку, которая не опускала глаз, как бы бесстрашно подтверждая, что отвечает за свой поступок.

- Ты! Ты! - только и выговорил он наконец.

Он схватил Клотильду за локоть, и сжал до боли. Но она продолжала смотреть ему прямо в лицо, не сгибаясь перед ним, непреклонно противопоставляя ему свою волю, свое «я». Она была вызывающе хороша: тоненькая, стройная, нежная блондинка, в облегающей черной блузе; и все в ней - прямой лоб, тонкий нос, упрямый подбородок, - все дышало сейчас воинственным пылом.

- И это ты, мое создание, моя ученица, мой друг, мое второе «я», ведь я тебе отдал частицу своего сердца и ума! Нет, нет, я должен был сохранить тебя целиком для себя одного, не допускать, чтобы лучшее, что в тебе есть, отобрали у меня и отдали твоему дурацкому богу!

- Помилуйте, сударь, вы богохульствуете! - вскричала Мартина, подошедшая к доктору, чтобы принять и на себя его гнев.

Но он даже не взглянул на нее. Для него существовала одна только Клотильда. Он словно преобразился. Его прекрасное лицо в рамке седых волос как бы помолодело от охватившей его беззаветной нежности, оскорбленной и поруганной. Еще с минуту они смотрели так друг на друга, не уступая, не отводя глаз.

- Ты! Ты! - повторял он дрожащим голосом.

- Да, я!.. Почему бы мне, учитель, не любить тебя так, как ты меня любишь? Почему, если я вижу, что ты в опасности, мне не попытаться тебя спасти? Ведь ты доискиваешься, о чем я думаю, и стремишься заставить меня думать так, как ты!

Никогда до сих пор она не давала ему такого отпора.

– Но ты еще совсем ребенок и ничего не знаешь!

– Напрасно ты так думаешь! У меня тоже есть душа, и ты знаешь о ней не больше моего.

Выпустив ее локоть, Паскаль не ответил, только неопределенно взмахнул рукой. Наступило многозначительное молчание, полное невысказанных слов. Он не хотел начинать спора, чувствуя его бесполезность. Рывком он распахнул ставень среднего окна, так как солнце садилось и в комнате сгущались сумерки. Потом снова вернулся к девушке.

Но Клотильде не хватало свежего воздуха и простора, она подошла к открытому окну. Яркий поток света иссяк, и только на раскаленном, но уже побледневшем небе не угасли последние отсветы заката, и вечерняя прохлада была напоена жаркими, пряными запахами еще полыхавшей зноем земли. Невдалеке, у подножия террасы, виднелись железнодорожные пути и служебные здания вокзала, а дальше, посреди обширной бесплодной равнины, тянулся ряд деревьев, обозначая течение Вьорны, за которой возвышались холмы Святой Марты – укрепленные каменными стенками и засаженные оливами уступы красноватой земли. Вверху их венчали темные сосновые леса; этот огромный, опаленный солнцем амфитеатр цвета старого обожженного кирпича протянул по небу бахрому своей темной зелени. Налево открывалось Сейское ущелье – груды обвалившихся желтых камней посреди кроваво-красной земли, а над ними возвышалась мрачная, огромная гряда утесов, похожая на стену исполинской крепости; справа же, у самого входа в долину, где протекала Вьорна, расположился уступами Плассан с его крышами из выцветшей розовой черепицы – весь этот хаотический лабиринт старого города, в который столетние вязаи вкрапливали свою густую листву. А надо всем в прозрачном золоте заката высилась уходящая в небо колокольня церкви Св. Сатюрнена, одинокая и безмолвная в этот час.

– Ах, боже мой! Только гордец может вообразить, будто человеку под силу все охватить, все познать! – с расстановкой произнесла Клотильда.

Паскаль влез на стул, чтобы удостовериться, на месте ли его папки. Потом поднял кусок мрамора и положил его опять на полку; решительно заперев шкаф,

он спрятал ключ в карман.

- Да, - промолвил он, - надо пытаться все познать и при этом не терять головы от того, что не все постиг и что никогда всего не постигнешь!

Мартина снова подошла к Клотильде, чтобы поддержать ее, подчеркнуть, что обе они действуют заодно. Доктор только теперь ее заметил и понял, что они объединились в своем стремлении взять над ним верх. После многолетних тайных покушений теперь, наконец, объявлена открытая война, близкие ополчились против дела его жизни и грозят все уничтожить. Нет горшей доли, чем увидеть предательство у себя дома, вокруг себя, почувствовать, что тебя преследуют, грабят, убивают те, кого ты любишь и кто тебя любит!

Эта страшная мысль пришла ему сейчас впервые.

- Но ведь вы обе все-таки любите меня!

У женщин на глаза навернулись слезы. А Паскаль вдруг почувствовал, как в этот тихий предвечерний час его охватила бесконечная грусть. Неизменной жизнерадостности Паскаля, его доброте, питаемой страстной любовью к жизни, был нанесен удар.

- Ах, дорогая моя, и ты, бедняжка Мартина, всё это вы делаете во имя моего счастья, не так ли? Но, увы! Какие мы теперь будем несчастные!

II

На следующее утро Клотильда проснулась в шесть часов. Накануне она поссорилась с Паскалем, и они весь день дулись друг на друга. Первым ее ощущением было смутное чувство тревоги и огорчения, желание немедленно помириться с ним, чтобы сбросить с души тяжелый камень.

Проворно вскочив с кровати, она приоткрыла ставни. В спальню, еще полную сна и тонкого аромата юности, ворвалась прохлада светлого радостного утра, и высоко стоявшее солнце прочертило на полу две золотые полосы. Присев снова

на край матраса, девушка на мгновение задумалась; в обтягивавшей ее сорочке она казалась еще стройнее: у нее были длинные точеные ноги, крепкое, стройное тело, округлые груди и шея, округлые гибкие руки, а шелковистая кожа белоснежных плеч пленяла взор своей юной прелестью. В переходном возрасте, затянувшемся у нее до восемнадцати лет, она выглядела очень большой, нескладной, лазала по деревьям, как мальчишка, и вдруг этот долговязый подросток превратился в обаятельное создание, полное чарующей грации.

Взгляд Клотильды блуждал по стенам комнаты. Сулейяду построили в прошлом веке, но ее, должно быть, обставили заново во времена Первой империи, на уцелевшем узорчатом ситце обивки были изображены какие-то сфинксы в медальонах из дубовых листьев. Когда-то ситец был ярко-красный, а теперь стал розовым, того линяло-розового цвета, который приближается к палевому. Занавески на двух окнах и полог кровати сохранились от прежних времен, их не раз стирали, от чего они совсем вылиняли. И этот поблекший, изысканно-нежный пурпур тона утренней зари был поистине великолепен. Кровать, обтянутая той же материей, пришла в негодность, и ее заменили взятой из соседней комнаты – низкой, очень широкой, массивной кроватью красного дерева, также в стиле ампира, с медными украшениями и четырьмя столбиками по углам, увенчанными такими же сфинксами, как те, что красовались на обивке. Впрочем, и остальная мебель была в том же вкусе: шкаф с колонками и цельными дверцами, комод с белой мраморной доской, в резной деревянной раме, громоздкое высокое трюмо, кушетка с прямыми ножками, стулья с прямыми спинками в форме лиры. Но на пышной кровати, занимавшей середину стены против окон, пестрело шелковое покрывало, сшитое из старой юбки времен Людовика Пятнадцатого, а гора подушек придавала уют жесткой кушетке. Две этажерки и стол были так же, как и кровать, покрыты извлеченной из недр какого-то шкафа старой шелковой материей, затканной цветами.

Наконец Клотильда натянула чулки, накинула белый пикейный пеньюар и, всунув ноги в полотняные домашние туфли, побежала в свою туалетную комнату, выходящую окнами в сторону, противоположную фасаду. Она обила ее стены простым суровым тиком в синюю полоску и обставила столь же простой мебелью из полированной сосны: туалет, два шкафа, стулья. Однако здесь во всем чувствовалось природное тонкое, чисто женское кокетство, которое пришло к Клотильде вместе с красотой. В ней еще вспыхивало порой мальчишеское упрямство, но она стала покладистой, нежной и жаждала быть любимой. Она выросла на свободе, ее научили только читать и писать, – и лишь позднее, помогая дяде в работе, она получила довольно обширные познания,

чем была обязана самой себе. Никакой определенной программы у них не было, Клотильда страстно увлекалась естественными науками, и это открыло ей всю правду об отношениях мужчины и женщины. Впрочем, она хранила как сокровенный плод свою девственную чистоту, хранила, без сомнения, потому, что неосознанно и благоговейно ждала настоящей любви, того глубокого женского чувства, ради которого она когда-нибудь принесет в дар всю себя, чтобы полностью раствориться в своем избраннике.

Она подобрала волосы, вымылась, не жалея воды; потом, не в силах дольше терпеть, тихонько открыла дверь своей комнаты и на цыпочках, бесшумно прошла через гостиную, служившую и рабочим кабинетом. Ставней еще не открывали, но в комнате было достаточно светло, чтобы не наткнуться на мебель. Очутившись у двери, ведущей в спальню доктора, она пригнулась, затаив дыхание. Встал ли он уже? Что делает? Она отчетливо слышала, как он расхаживает не спеша, по-видимому, одевается. Она никогда не входила в спальню Паскаля, которую он постоянно держал на запоре, это была святая святых, где он прятал свои работы. Клотильду охватила тревога: что, если, открыв дверь, он увидит ее здесь? Она не знала, на что решиться: уязвленная гордость боролась в ней с желанием выказать ему свою покорность. На минуту это желание взяло верх, и она едва не постучала в дверь. Но как только шаги приблизились, она пустилась бежать без оглядки.

До восьми часов Клотильда не могла ни за что приняться, нетерпение ее все росло. Она поминутно взглядывала на часы, стоявшие на камине, – позолоченные, бронзовые часы в стиле ампир, с Амуром, лукаво созерцающим задремавшее Время. Обычно в восемь часов она спускалась в столовую, где для нее и для доктора уже был готов первый завтрак. В ожидании она тщательно занялась своим туалетом: причесалась, надела туфли, белое полотняное платье в красный горошек. Чтобы как-нибудь убить оставшиеся четверть часа, она решила выполнить свое давнее желание и, усевшись, стала пришивать кружева под шантильи к своей рабочей блузе, той черной блузе, какую находила теперь слишком мальчишеской, недостаточно женственной. Но как только пробило восемь часов, она оставила работу и быстро спустилась вниз.

В столовой Мартина встретила ее словами:

– Сегодня вы будете завтракать одна.

– Как это так?

– Да так! Хозяин меня окликнул, приоткрыл дверь и взял из рук завтрак, – невозмутимо проговорила Мартина, – и вот он уж опять схватил свою ступку и цедилку. Раньше полудня мы его и не увидим.

С лица Клотильды сбежала краска. Она стоя выпила молоко и, взяв с собой булочку, пошла за служанкой на кухню. В нижнем этаже, кроме столовой и кухни, находилась нежилая комната, где хранились запасы картофеля. Прежде, когда доктор еще принимал больных на дому, он осматривал здесь своих пациентов, но уже давно конторку и кресло перенесли отсюда наверх, в его комнату. При кухне было еще одно помещение – тесная каморка старой служанки, очень чистенькая, с комодом орехового дерева и монашеской кроватью под белым пологом.

– Ты думаешь, он снова принялся варить свое снадобье? – спросила Клотильда.

– Еще бы! А что же другое? Вы ведь знаете, он забывает и есть и пить, когда на него это находит!

– Ах, боже мой! боже мой! – в тревоге произнесла девушка жалобным шепотом.

Когда же Мартина поднялась наверх, чтобы убрать ее комнату, огорченная Клотильда, не зная, как убить время, взяла в передней зонтик и с булочкой пошла в сад.

Прошло уже почти семнадцать лет с тех пор, как доктор Паскаль, решивший покинуть свой дом в новом городе, приобрел Сулейяду за двадцать тысяч франков. Он искал уединения и в то же время хотел предоставить возможно больше простора и удовольствий маленькой дочери брата, которую тот прислал ему из Парижа. Сулейяда раскинулась на возвышенности у ворот города. Когда-то она была большим имением, но прежние хозяева понемногу распродали землю, и от обширного поместья теперь остались каких-нибудь два гектара. В довершение всего, постройка железной дороги погубила последние пахотные поля. Дом также был наполовину уничтожен пожаром; из двух строений уцелело лишь одно – квадратный флигель «о четырех хвостах», как говорят в Провансе, с пятью окнами по фасаду, крытый крупной красной черепицей. Доктор купил дом со всей обстановкой и, не желая заниматься переустройством, ограничился тем, что велел починить ограду, чтобы никто не нарушал его покоя.

Клотильда всем сердцем любила это уединенное маленькое царство, которое она могла обойти за десять минут и где еще сохранились уголки, отмеченные былым великолепием. Но сегодня она еле сдерживала свое возмущение. Она прошла вдоль террасы, где по обеим сторонам высились столетние кипарисы, видные за три лье и напоминавшие две темные свечи. Оттуда откос спускался до самой железной дороги, каменные стенки сухой кладки подпирали уступы красной земли, где зачахли последние виноградники; и на этих громадных своеобразных ступенях росли теперь рядами хилые оливковые и миндальные деревья. Жара становилась уже нестерпимой. Клотильда загляделась на маленьких ящериц, сновавших в расселинах плит среди косматых листьев каперса.

Но в это утро открывавшиеся перед ней широкие просторы только вызывали ее раздражение; и, пройдя через фруктовый сад и огород, за которыми Мартина, несмотря на свой возраст, ухаживала одна, приглашая поденщика только дважды в неделю для тяжелых работ, Клотильда свернула направо и очутилась в сосняке – маленькой сосновой роще. Это было все, что осталось от роскошных деревьев, покрывавших когда-то плоскогорье. Но ее и здесь не покинуло беспокойство: сухие иглы скрипели под ногами, от ветвей шел смолистый удушливый запах. Она прошла вдоль ограды, миновала ворота, выходившие на Фенуйерскую дорогу, откуда было рукой подать до первых домов Плассана, и очутилась наконец на заброшенном току двадцати метров в радиусе, самые размеры которого свидетельствовали о былом величии усадьбы. На этом старинном току – обширной площадке, вымощенной, как во времена римского владычества, круглым булыжником, золотился густой ковер невысокой, высохшей травы. Как веселилась здесь прежде Клотильда: бегала, резвилась или лежала целыми часами неподвижно, наблюдая, как в бескрайнем небе рождаются звезды!

Клотильда раскрыла зонтик и медленными шагами пересекла ток. Обойдя всю усадьбу и свернув влево от террасы, она оказалась позади дома, где росли огромные платаны, затенявшие эту сторону Сулейяды. Сюда выходили два окна комнаты доктора. Клотильда подняла глаза, ведь она пришла со смутной надеждой наконец его увидеть. Но окна были по-прежнему закрыты, и она восприняла это как жестокую обиду. Только тут она спохватилась, что забыла про булочку и все еще держит ее в руках; укрывшись под деревьями, она мгновенно съела ее со здоровым аппетитом молодости.

Старые платаны, рассажженные в шахматном порядке, были еще одним напоминанием о прежней роскоши Сулейяды. В знойные летние дни под этими исполинскими деревьями стоял зеленоватый сумрак и веяло чудесной прохладой. Когда-то здесь был разбит французский сад, но от него осталась только кайма из буксуса, который густо разросся, видимо, хорошо приносившись к тени, и превратился в высокий кустарник. Но главной прелестью этого тенистого уголка был фонтан – простая свинцовая трубка, вделанная в колонку, откуда всегда, даже во время самой большой засухи, бежала струйка воды шириной в мизинец, вливавшаяся в большой замшелый бассейн, позеленевшие камни которого очищали только раз в три-четыре года. Даже когда по соседству пересыхали все колодцы, в Сулейяде продолжал бить источник, вспоивший, без сомнения, и вековые платаны. Сотни лет денно и ночью эта тонкая, ровная струйка, звеня хрусталем, напевала свою незатейливую песенку.

Побродив немного среди зарослей буксуса, доходившего ей до плеча, Клотильда принесла из дома вышиванье и села за каменный столик, у фонтана. Вокруг стояло несколько садовых стульев, и летним утром здесь обычно пили кофе. Она не поднимала головы, делая вид, что поглощена рукодельем, но время от времени вскидывала глаза, словно скользила взглядом по стволам, или всматривалась в пылающие дали, в залитый солнцем ток, ослепляющий, как костер. На самом же деле она следила из-под длинных ресниц за окнами доктора, но не увидела ничего, даже его тени. Клотильда все больше грустила и досадовала, что после вчерашней размолвки он оставил ее одну, пренебрег ею. Она-то проснулась с таким горячим желанием поскорее помириться! А он, как видно, не торопится, значит, не любит ее, если может спокойно работать, когда они в ссоре. И Клотильда, становясь все мрачнее, укрепила в своем желании не поддаваться Паскалю и ни в чем ему не уступать.

В одиннадцать часов, перед тем как готовить завтрак, Мартина пришла за ней, по своему обычаю, не выпуская из рук чулка, который вязала даже на ходу, когда не была занята другим делом.

– Ну, что вы скажете, он все еще сидит наверху взаперти, словно сыч какой, его не оторвешь от этой дьявольской стряпни!

Клотильда пожала плечами, не поднимая глаз от вышивания.

– Ах, барышня, кабы вы только знали, о чем люди судачат! Видно, госпожа Фелисите была права, когда сказала вчера, что нам есть от чего краснеть... Мне, да, да, мне – прямо в лицо брякнули, будто хозяин убил старика Бутена. Помните того беднягу, что болел падучей и помер на дороге?

Наступило молчание. Видя, что девушка опечалилась, служанка продолжала, еще проворнее работая спицами:

– Я-то ничего в этом не смыслю, но мне просто не вмоготу, когда он начинает варить свое зелье... Ну, а вам, барышня, неужто не тошно от его стряпни?

Клотильда резко подняла голову, уступив внезапно охватившему ее страстному порыву:

– Послушай, в этом я понимаю, пожалуй, не больше твоего, но боюсь, что его ждет беда... Он нас не любит!

– Полно вам, барышня, он нас любит!

– Нет, нет, не так, как мы его любим!.. Если бы он нас любил, он был бы здесь, с нами, а не губил бы там, наверху, свою душу, свое и наше счастье, желая спасти весь мир!

На мгновение женщины встретились глазами, но хоть обеих и мучила ревнивая тревога, взгляды их светились любовью. И снова в тенистой прохладе они молча принялись за работу.

Между тем наверху, в своей комнате, доктор Паскаль спокойно, безмятежно сидел за работой. Медицинской практикой он занимался всего каких-нибудь двенадцать лет, со времени возвращения из Парижа и до той поры, пока не уединился в Сулейяде. Накопив больше ста тысяч франков, доктор благоразумно поместил свой капитал и теперь целиком посвятил себя любимой работе. Он врачевал только друзей, впрочем, не отказывался навещать больных, но никогда не посылал им счета. Когда же ему платили за визит, небрежно совал деньги в ящик секретера. Это были карманные деньги, и он тратил их на опыты и собственные маленькие прихоти, в остальном же довольствовался процентами с капитала. Повадки Паскаля заслужили ему сомнительную репутацию чудака, но он только посмеивался над этим и бывал счастлив, лишь когда занимался

дорогими его сердцу опытами. Для многих было неожиданностью, что этот гениально одаренный ученый со столь живым воображением обосновался в Плассане – убогом городишке, где, казалось, он не сможет получить даже нужных ему инструментов. Но доктор вполне разумно объяснял преимущества, какие он здесь нашел, – прежде всего никем не нарушаемое уединение, а затем обширное поприще для изучения различных форм наследственности – вопроса, который его больше всего интересовал. В этом провинциальном городке он знал каждую семью, и ничто не мешало ему следить за проявлениями наследственности, которые на протяжении двух или трех поколений тщательно утаивались от посторонних в семейных анналах. К тому же Сулейяда лежала поблизости от моря, куда Паскаль отправлялся на лето, чтобы и там изучать жизнь, наблюдать за тем, как она возникает и множится в глубине водных просторов, наконец, Плассанская больница располагала большим анатомическим театром, куда, кроме Паскаля, никто не заглядывал; в этой большой светлой комнате вот уже свыше двадцати лет ни один не востребованный родственниками труп не миновал его скальпеля. Доктор был очень скромный, порой до робости застенчив и о сделанных им замечательных исследованиях, которые он иногда посылал в Медицинскую академию, сообщал только своим бывшим профессорам и немногим новым друзьям. Ему было чуждо воинствующее честолюбие.

Заняться специально законами наследственности доктора Паскаля побудили работы по изучению беременности. Как всегда, здесь в известной мере сыграл роль случай, предоставивший в его распоряжение множество трупов беременных женщин, умерших во время холерной эпидемии. Позднее, производя вскрытия, он смог восполнить пробелы в своих записях, собрать новые данные и проследить, как формируется зародыш, как день ото дня развивается плод во внутриутробный период; и он составил перечень очень точных, тщательно выверенных наблюдений. Перед ним во всей своей волнующей таинственности как начало всех начал предстала проблема зачатия. Почему и как развивается новое существо? Какие законы природы вызвали к жизни поток существ, образующих мир? Паскаль не ограничился изучением трупов, а расширил свои исследования, наблюдая за живыми людьми. Пораженный частым повторением некоторых явлений у своих пациентов, он стал особенно пристально изучать собственную семью, в которой эти явления сказались наиболее полно и наглядно. И теперь, по мере того как накапливались факты и систематизировались его записи, Паскаль пытался создать общую теорию наследственности, при помощи которой можно было бы их все объяснить.

Это была трудная проблема, и над ее решением Паскаль ломал себе голову многие годы. В своей теории он исходил из двух принципов: принципа созидания и принципа подражания, – то есть наследственности, или воспроизведения существ по законам сходства, и врожденности, или воспроизведения существ по законам различия. Для наследственности он допускал четыре разновидности: наследственность прямую, то есть такую, когда в ребенке сочетаются физические и духовные свойства отца и матери, наследственность косвенную – когда в ребенке повторяются свойства родственников по боковой линии: дядей, и теток, двоюродных братьев и сестер; наследственность возвратную – наследование признаков предшествующих поколений, проявляющееся через одно или несколько колен, и, наконец, наследственное влияние, при котором на потомстве сказываются прежние связи, например, в тех случаях, когда первый самец влияет на все потомство самки, даже на то, к которому он не имеет отношения. Что касается врожденности, то она приводит к созданию нового или кажущегося таковым существа, в котором сочетаются физические и духовные свойства родителей, хотя на первый взгляд создается впечатление, что от них ничего не унаследовано. Основываясь на этих же двух понятиях – наследственности и врожденности, – Паскаль подразделил наследственность еще на два вида: сходство ребенка с отцом или матерью, преобладание в нем индивидуальных черт одного из родителей и смешение этих черт. Смешение, восходя от менее совершенной к более совершенной форме, могло, в свою очередь, иметь три разновидности: сочетание, рассеянное проявление и полное слияние. При врожденности он считал возможным только один случай – соединение свойств, подобное химическому, которое получается от взаимодействия двух веществ, образующих новое вещество, совершенно отличное от тех, чьим продуктом оно является. Таков был вывод из множества наблюдений, собранных Паскалем не только в области антропологии, но также зоологии, помологии и садоводства. Когда же на основании множества фактов, добытых путем анализа, Паскаль решил перейти к синтезу, сформулировать теорию, которая объяснила бы их совокупность, на его пути возникли новые трудности. Он оказался на зыбкой почве гипотезы, которую видоизменяет каждое новое открытие. И хотя вследствие присущей человеческому разуму склонности к обобщениям Паскалю трудно было удержаться от тех или иных выводов, он был человеком широких взглядов и оставил вопрос открытым. Таким образом, начав с геммул Дарвина, с его пангенезиса, и пройдя через теорию корневища Гальтона, он дошел до перигенезиса Геккеля. Интуитивно он предвосхитил теорию Вейсмана, которая получила признание позднее, и остановился на том, что существует исключительно тонкая и сложная субстанция – зародышевая плазма, – часть которой всегда остается в запасе у всякого нового существа, чтобы потом перейти из поколения в поколение в

устойчивом, неизменяемом виде. Казалось, все этим объяснено, и все-таки сколько еще остается нераскрытых тайн! Целый мир подобия передается сперматозоидом и яйчком, а человеческий глаз не различает в них ничего даже при наибольшем увеличении микроскопа. Паскаль был готов к тому, что в один прекрасный день его теория окажется недостаточно убедительной, – она удовлетворяла его лишь как временное объяснение, пригодное только на современном этапе изучения материи, в процессе которого самый источник жизни, ее родник, очевидно, всегда будет от нас ускользать.

Наследственность – какая это сложная проблема! Какой неисчерпаемый материал для бесконечных размышлений! Сколько неожиданного и чудесного в том, что сходство с родителями не абсолютно, не математически тождественно! Паскаль составил сначала родословное древо своей семьи, построенное чисто логически, поровну распределив влияние отца и матери из поколения в поколение. Но живая действительность почти на каждом шагу опровергала его теорию. Наследственность была не сходством, а только тенденцией к сходству, встречавшей противодействие со стороны внешних обстоятельств и среды. И тут Паскаль пришел к тому, что он назвал гипотезой недоразвития клеток. Жизнь есть только вид движения, а наследственность – это восприятие сообщенного движения, при котором клетки, делясь и размножаясь, сталкиваются, теснятся, располагаются в определенной последовательности, проявляя каждая наследственный импульс; наиболее слабые клетки погибают во время этой борьбы, что ведет к резким изменениям и рождению совершенно новых организмов. Не на этом ли зиждется врожденность, та неослабная изобретательность природы, которая все время преподносила Паскалю неожиданности. Может быть, именно благодаря этим сдвигам и сам Паскаль так отличается от своих родителей? А может быть, здесь сказывается влияние скрытой наследственности, в которую он одно время уверовал? Поскольку корни всякого родословного древа уходят в глубь веков – к первому человеку, не следует сосредоточивать внимание на каком-то одном предке, всегда возможно сходство с другим, еще более далеким и неизвестным прародителем. Между тем Паскаль ставил под сомнение атавизм и, несмотря на пример, обнаруженный в его собственной семье, придерживался мнения, что через два-три поколения сходство неминуемо должно угаснуть вследствие случайностей, вмешательств извне, вследствие тысячи возможных комбинаций. Таким образом, в процессе передачи потомству наследственного импульса – этой силы, этого движения, которым жизнь наделяет материю и которое и есть сама жизнь, – перед нами происходит непрерывное становление, постоянное превращение. И снова у Паскаля возникло множество вопросов. Осуществляется ли с течением веков физический и духовный прогресс? Увеличивается ли мозг по мере того, как

растут научные познания? Можно ли надеяться, что со временем мир станет разумнее и счастливее? Затем перед Паскалем вставали частные проблемы, и в их числе та, которая долго волновала его своей загадочностью: какие факторы определяют при зачатии пол будущего ребенка? Смогут ли когда-нибудь ученые научно предсказывать пол или по меньшей мере объяснять его возникновение. Он написал по этому вопросу очень интересную статью, подкрепленную многими фактами, но она свидетельствовала, в сущности, о том, что, несмотря на упорные изыскания, он все еще находится в полном неведении. Без сомнения, проблема наследственности так увлекала Паскаля, потому что эта обширная область оставалась по-прежнему темной и неисследованной, как и все находящиеся в младенческом состоянии науки, где ученый идет на поводу у воображения. А длительное изучение наследственности туберкулеза вернуло Паскалю поколебавшуюся было в нем веру во врача-целителя, благородную, но безумную надежду возродить все человечество.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.me/ru/emil-zolya/doktor-paskal>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)